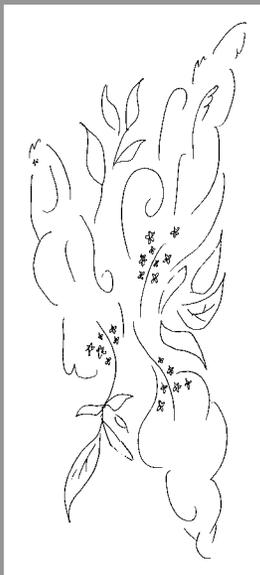


Борис Вайнер

Время сирени

148



ПОВЕСТЬ

Окончание. Начало в № 15 «КА»

Сирень была вербальной загадкой. Определение «сиреневый» рядом со словом «куст» поразительным для школяра образом объединяло в себе черты качественного и относительного прилагательных, означая и цвет, и материал. Удивляли «цветочные» девичьи имена – не привычные для Казани и окрестностей Роза и Резеда, а неожиданные Ландыш и Сирень; кстати, знаете ли вы, что в саду или в вазе сирень и ландыш друг дружки не переносят? Поражал аромат, когда ты улавливал в нём не только благоухание, а и летучую горечь сродни той, что всплывает над ядрышком расколотого миндального ореха; не такой ли точно запах источает сама

жизнь? Впрочем, тогда это для тебя ещё не стало метафорой.

Как чистое манипулирование сознанием воспринимал я позже, в бытность мою студентом, и манеру власти постоянно занимать население кампаниями в поддержку политически благонадёжных зарубежных персонажей (Анджелы Девис, Леонарда Пелтиера, Луиса Корвалана и пр.) – дабы держать это самое население в состоянии вечного пионера и отвлекать от реальных неразрешаемых проблем собственной страны. Это чувствовал всякий, чья голова была не до конца затуманена советскими поведенческими инвективами. Ещё задолго до моего пионерского периода юной тогда Мариэтте Чудаковой старший брат, которому было двадцать, выговаривал: «Ты это брось – чужой матери полы мыть. Ты своей вымой!» Но для своей надо стараться: она ведь и замечание сделать может, и недовольной остаться. И почёта никакого. А для чужой за хлебом в магазин сгонял – она тебе и спасибо большое, и чай с плюшками, и приходи ещё, и вот ты уже тот самый пионер, который всем ребятам пример.

Лозунг «Свободу Луису Корвалану!» – вне зависимости от сочувствия судьбе самого Корвалана – в народе в скором времени переключался в анекдоты (выступление на собрании: «Не знаю, кто такие Чилия и Хунта, но если они не выпустят Луизу с карнавала, я завтра на работу не выйду!»). А у меня – в комический текст, с вышеупомянутой темой связанный лишь ассоциативно и читанный только друзьям:

Аптека – тот же магазин:
 За дефицитом – давка.
 Здесь даже поливитамины
 Дают из-под прилавка,
 И очереди вопреки
 В секретной бандероле
 Выносят средства от тоски
 И от сердечной боли.
 И робкий страждущий глядит
 Коровою комолой,
 Но сердце гневное стучит:
 – Свободу корвалолу!

Педагогическую практику мы, как и положено, проходили в школах. Среди старших ребят там нередко попадались персонажи, настроенные к практикантам иронически, если не сказать «ёрнически». Одна из моих сокурсниц, бывшая уже замужем, причём за довольно известным человеком, склонна была всячески подчёркивать свой статус – и одеждой, и манерностью, граничившей с демонстративным высокомерием. Восьмиклассникам это явно не нравилось; как-то один из них, завидев на перемене в школьном коридоре нашу даму в нарядном платье, перевитом поясом из золотых (хотя и картонных) колец, громко прокомментировал: «Златая цепь на дубе том!» Дама обиделась. А я, успокаивая её, припомнил вдруг, как сам когда-то на уроке химии после слов учительницы «Вещества, вступающие...» (она хотела сказать «в реакцию») шёпотом на весь класс подсказал: «В брак!»

Второклашки так не шутили, но с ними тоже бывало весело. Особенно во время упражнений на развитие фантазии, где мы вместе сочиняли рассказ. Как только был предложен зачин: «Один старик закопал в огороде коробку с деньгами», школяр с задней парты тут же выдал продолжение: «И каждый день брал по рублю!»

Студенческая жизнь богата на приколы (хотя само это словечко ещё не вошло тогда в моду). Как студент-филолог я не мог не коллекционировать оговорки преподавателей – помню, как один из них во время лекции процитировал Есенина: "Шаганэ ты моё, Шаганэ!" – и тематические байки. Особенно часто рассказываемые про студентов-заоч-

ников. Например, о том, как они сдают зачёты. Заходит в аудиторию молодая мамаша – в одной руке ребёнок, а в другой авоська с продуктами – и сажает младенца на стол к преподавателю. Ребёнок немедленно начинает вопить, а студентка – медленно доставать со дна авоськи зачётку, для чего выгружает содержимое прямо на экзаменационные билеты. Экзаменатор, заткнув уши и поедая глазами вино и колбасу, быстро ставит зачёт. После чего заочница стремительно складывает всё, включая ребёнка, обратно в авоську – и удаляется...

Первой моей ролью в любительском театре Дома культуры медицинских работников, располагавшегося на углу Бутлерова и Маяковского, был бессловесный персонаж в какой-то военной пьесе. А уже в студенческие годы – множество персонажей в спектаклях университетского театра миниатюр.

Театр сочетался с настольным теннисом. Спортивная карьера моя была непродолжительной, но я всё же успел стать чемпионом школы, выиграв, в основном на присущем мне упрямстве, заключительный поединок. Правда, на награждение я не попал, причём по глупой причине: не успел к началу, а все двери в зрительный зал по советскому обычаю были после старта церемонии сразу закрыты – дабы зрители не разбежались и не мешали процессу хождением.

Соперник по финалу долго на меня обижался: поражения он не предполагал. И вполне утешился, кажется, только лет через сорок пять, когда я при случайной встрече рассказал ему о моём опоздании.

Быковский «Айболит-66» я смотрел, вероятно, раз десять. Мне было восемнадцать, и для меня стало открытием такое единство театра и кино, клоунады и социального подтекста. Мне нравилось всё – и актёры, и разбросанные по коростылёвскому сценарию репризы, и музыка Бориса Чайковского, и особенно песни – «Ходы кривые роет // Под-

земный умный крот // Нормальные герои // Всегда идут в обход»... – вся ярко и весело актуализированная версия знакомого с детства сюжета. Это было зрелище моей мечты.

Девушка Сирень напоминала ещё и о книге Куна «Легенды и мифы Древней Греции», многие страницы которой я знал чуть ли не наизубок. В частности, рассказ о любви бога лесов и полей к нимфе Сиринге, чьё имя стало латинским названием сирени. Увидев Пана, нимфа испугалась и бросилась бежать, а поняв, что он её догоняет, превратилась в сиреневый куст. Тогда Пан срезал с куста ветку, сделал свирель и заиграл на ней; отсюда обычай пастухов вырезать свирели из древесины сирени.

История была неоднозначная и мистическая: с одной стороны, Пан так или иначе добился своего, а с другой, Сиринга умерла, но продолжала жить в дереве и в звуке; «жизнь через смерть», как говорили о таких сюжетах в эпоху Ренессанса.

Увлечение моё философией было непродолжительным и поверхностным. Но в этих книгах порой встречались поражавшие меня и оставшиеся со мной на всю жизнь мысли. Кажется, в гегелевской «Пропедевтике» я прочёл, что девяносто процентов зла на Земле совершается порядочными людьми, уверенными в том, что они просто выполняют свой долг. И моментально понял, что так оно и есть; с тех пор я крайне мало доверяю конспирологическим теориям. У того же Гегеля в «Лекциях по философии истории» нашёл следующее: народы и правительства никогда ничему не учились из истории, потому что каждое время для этого слишком индивидуально... Что касается «эстетических воззрений», то что-то понимать я, видимо, начал после «Психологии искусства» Вygотского.

Стихи, относящиеся к выпускному возрасту, часто бывали первыми для меня попытками обращения если не к абсурду, то к небывальщине, ко множе-

ственным весёлым оксюморонам, которые не слишком умело нанизывались на залихватский пиратский – привет «Острову сокровищ» и «Затерянным в океане» – сюжет. В «южной, но выюжной» стране ясным днём летали совы, а по соседству, в море, расположенном «переулком выше Гималаев»,

Рыжий шкипер Бенни
по кличке Шабаш,
Он же Чёрный Джо Стальное Ухо,
Дилижанс почтовый
брал на бордаж,
Потрошил почтмейстерское брюхо...

В финале «с кудрявой волны» на пирата налетали Трое Благородных Попугаев, требовавшие немедленно подать героя к чаю, а из-под земли его поражал небесный гром, отчего у бедолаги наступало раздвоение личности: Бенни и Джо разбегались в разные стороны.

...Может быть, в иной, неведомой стране,
Встретить доведётся их тебе и мне,
Но за это я не дам и пенни.

Другие мои стихи той поры, не столь англазированные, были тоже навеяны книгами и являли собой попытку эти книги переосмыслить – скажем, через сопоставление судеб героя и его прототипа. Сомнения в романтической версии жизни – симптом взросления многих поэтов, и некоторые из них, как Мирра Лохвицкая, фиксировали это состояние с помощью сказочной атрибутики. Мне же в качестве материала попался роман Дюма-старшего – в конце концов тоже волшебный сюжет.

Весь день я де Вильфору мстил
И корабли дарил прохожим,
И жребий, а затем и ложе
С молодой гречанкою делил,
И в час, когда глаза смежил
Мне сон в полуночной постели,
Воздушный замок возводил,
Как сын покойного Морреля...

Разумеется, планида прототипа была к нему куда как менее благосклонной, нежели романная история к будущему графу Монте-Кристо: аббат Фариа оказывался безумцем, никаких сокровищ на острове не было, и несчастный

Эдмон Дантес уходил в сиреневую даль без гроша в кармане:

**...И долго голос слышен был:
«Подайте, Монте-Кристо ради!»**

Ещё одно стихотворение, тоже «внутри жанра», то бишь на литературную тему, называлось «Дискуссия». Это была практически первая публикация моих опусов – его напечатал «Московский комсомолец». По сюжету несколько филологов спорили о происхождении слов, начинающихся с «ав». Ещё одним диспутантом оказывался лежавший под окном дворовой пёс и, естественно, его версия представляла наибольший интерес:

**Автомобиль и ав-авторитет,
Автофургон и ав-автопортрет,
Ав-авторочка и ав-автомат –
Бобик с Барбосом вам всё объяснят...**

Слова объявлялись исконно собачьими, а затем следовал лукавый авторский постскрипtum:

**Вывод надуманный, с бухты-барахты,
И совершенно неверный.
Ав-автор.**

Вообще же стихотворные опыты у меня в те дни были редкими. А вскоре я стихи и вовсе оставил, возобновив это занятие только лет через десять. Случайно залетевший тогда в Казань ленинградский поэт Вольф Суслов, услышав мои новые, чуть менее неуклюжие и тоже на морской экзотике замешанные опусы – про краба, лезущего за кокосом на пальму, про поджидающую его внизу обезьяну, про китёнка, едва не проглотившего прогулочный пароходик, про танцующих вальс дельфинов и меняющиеся галс фрегаты – тут же окрестил их «стихами Сейшельских островов». Что было совсем не обидно, а в каком-то смысле и верно. На Сейшелы, далёкий тропический рай, где, как говорят, нет ни единого опасного для людей существа ни на суше, ни в омывающих её океанских водах, – я и сейчас смотрю как на родину моей души, во всяком случае мальчишески мечтательной её части. А

острова из этого давнего эпизода спустя много лет перекочевали в «Стихи о самом себе», написанные вслед Эдварду Лиру:

**Мистер Вайнер – чудное творенье:
Он в краю парадоксов возрос.
Он дитя озорное Сомненья
И скорее Курьёз, чем Серьёз.**

**Жизнь свою посвятил он всецело
Сочиненью смешной чепухи.
Никогда не бывал на Сейшелах,
Но сейшельские пишет стихи...**

Англоманом я стал из любви к британской словесности – сначала к Сабатини, Стивенсону и Конан Дойлу, затем к Бёрнсу, Честертону и Де Ла Мэру. Меня не могло сбить с пути даже полярное нашему отношению жителей туманного Альбиона к сирени: там она цветок несчастья, и если лондонская или ливерпульская девушка посылает сватающемуся к ней ветку сирени – это отказ, в полном согласии со старой английской пословицей: тот, кто носит сирень, никогда не будет носить венчального кольца.

Белая сирень в Англии появилась гораздо позже лиловой, и событие это даже породило легенду, в которой мало-мальски вооружённым глазом можно усмотреть отражение мифа о Пане и Сиринге. Некий лорд обидел доверившуюся ему молодую девушку, и она умерла с горя. Друзья усыпали всю её могилу лиловой сиренью, а когда на-завтра вернулись, то обнаружили, что цветы побелели.

Сейшелы были воображаемые, а Сахалин настоящий. Туда мы попали из Владивостока на теплоходе «Русь», во Владивосток из пересылки в Манзовке, а до того долго тряслись на поезде через всю страну, исчерпывая потихоньку немалый запас солёных анекдотов и день за днём отвыкая от гражданской жизни. В заливе Анива все, кто не отселялся на материке, по трапу перебрались на катер, и он двинулся к берегу.

Это был остров, где берега прудов и мелких речек густо заросли шипов-

ником, а рощи карликовых берёз – папоротником и гигантскими лопухами; обычный лопух целиком накрывал пятилетнего сынишку одного из наших командиров, а некоторые экземпляры – и самого командира. Где летний зной медленно стекал по телу, как сироп с ложечки в чашку. Где зимой сугробы на срезах сияли голубым светом и даже небольшой морозец из-за высокой влажности крепко хватал за щёки. Где старые двухэтажные казармы в метель заносило по самую крышу; раскапывали их, освобождая поначалу двери и окна, с помощью спецтехники; спецтехника называлась БСЛ, то есть Большая Совковая Лопата, и была несложна в обращении – согласно фольклорной инструкции: «Бери больше, кидай дальше, отдыхай пока летит».

«Батарея, подъём!» раздавалось ровно в шесть. Дальше нужно было под приглядом дневального стремительно одеться, равняясь на время, за которое сгорают спичка (кое-кто даже специально тренировался), выскочить, поёживаясь и хлопая глазами, на тёмный невзирая на горящие прожектора плац – и бегом вперёд. В чёрном небе мерцали крупные звёзды, в свете прожекторов вился снег, из репродуктора гремело мало подходящее для утренней солдатской пробежки – Ободзинский, «Эти глаза напротив». Или «Синий иней» от «Поющих гитар». Который действительно лежал на проводах и на всём прочем тоже; на бегу кто-то из нас скользил в неловких сапогах, кто-то падал, но тут же под обший гогот вскакивал и нёсся дальше, догоняя своих. Если на секунду отвлечься и посмотреть со стороны – а у меня была такая привычка – то быт отступал и надвигался космос, где ты невзирая на толпу вокруг был совсем один и не понимал, вернёшься ли с этого края земли домой или так и застрянешь, а то и вообще сгинешь. Тем более что «синий-синий иней» на самом-то деле «уан уэй тикет», и тебе вполне мог достаться этот билет в одну сторону. Хорошо, что отвлекался я ненадолго, ибо риск грохнуться на лишь

слегка заснеженный бетон в эти моменты резко возрастал.

На строевых, чеканя шаг, мы уже пели сами, и чаще всего о своём, девичьем, то есть про артиллерию. «Там, где пехота не пройдёт // Где бронепоезд не промчится // Угрюмый танк не проползёт // Там пролетит снаряд, как птица»... Интересно, запомнил бы я этот текст, если бы не был запевалой? А ещё по утрам и вечерам у нас были японские песни, поскольку радиостанции Страны Восходящего Солнца на Сахалине прекрасно ловились – и «У моря, у синего моря...», и «Белых роз лепестки», и много чего ещё. Кстати о лепестках, цветах и ягодах: в начале островного лета я обнаружил, что в отличие от материка здесь почти не пахнут ни черёмуха, ни ландыш, ни малина. Ни даже сирень, которая и расцвела не в мае, а в июне. «Да у нас вся жизнь на месяц позже», – сказала мне улыбнувшись девушка-буфетчица; было это в солдатской чайной, где сахалинские девушки, по мнению редко покидавшего территорию части салаги, только и водились.

Старлей Хван был выраженный холерик. Из тех, кто справедлив, но суров. Не помню точно, за что он на меня тогда взъелся. Скорее всего за дерзкий разговор. Но взъелся неслабо. В такие минуты он, внешне мало напоминавший гашековского героя, был вылитый поручик Лукаш: «Ты ещё не знаешь старшего лейтенанта Хвана, но ты его ещё узнаешь!» В моём случае было добавлено: «Наряд вне очереди!» Я сказал «Есть!», запахнул шинель и пошёл.

Было солнечное утро двадцать пятого января. На полпути к здоровенной куче угля – месту отработки наряда – меня нагнал товарищ, что в числе прочих оставался в казарме с лейтенантом после того, как я был выгнан. «Ты это... – сказал он. – В общем, мы ему сказали про день рождения. Так что наряд отменяется. В увольнение сходи».

Я действительно родился двадцать пятого января, в Татьянин день. А старший лейтенант Хван был суров, но справедлив.

В армии, согласно здешней присказке, квадратное катят, а круглое волокут. Переходя из гражданского существования в солдатское, к новым, часто алогичным правилам и понятиям привыкаешь не сразу. Отчего запросто можешь стать объектом излюбленных армейских приколов – вроде приказов простодушному новобранцу подкачать колёса (на самом деле цельнолитые) у орудия или сходить в соседнюю батарею за клиренсом, потому что свой куда-то пропал (клиренс – расстояние между платформой пушки и землёй). Впрочем, командиры постепенно вводили салажню в курс, причём на весьма выразительном вербальном уровне: «Наш солдат должен так одеваться, чтобы враг одного его внешнего вида боялся!», «Армия, товарищи солдаты, – это машина по переработке добра в дерьмо. Но пока на земле существует империализм...»

В посёлке Шкотово под Владивостоком я впервые прочитал мелвилловского «Моби Дика». Книга попала ко мне случайно, и за несколько вечеров в армейской казарме, на верхнем ярусе кровати, я одолел её всю, с наслаждением внимая даже детальному описанию разделки туш китов. Разницу между «о чём» и «про что», между «что» и «как» – вот что я тогда усвоил, ещё не додумавшись, разумеется, до этой формулы. Чувство было примерно то же, что в детстве при чтении Свифта, а именно страниц, где лилипуты описывают обнаруженные в карманах Гулливера предметы так, как они их видят. У литературоведов это называется «остранением».

На том, что я пишу, служба никак не отразилась. За крохотным исключением: в моей «Нинзе из Самураевки» – цикле «ладошечных» деревенских небылиц в духе Семёна Писахова, – есть один рассказ, навеянный армией, – «Правильные пчёлы». Написан он, как и прочие в этой детской книжке, от лица местного, мураевского (от настоящего названия деревни) жителя, остролова и балагура. «Пчёлы у нас правильны. В

шесть подъём, в шесть пятнадцать зарядка, в шесть сорок бегом на завтрак, в семь пятнадцать – строевая подготовка, в девять – матчасть, в одиннадцать – джиу-джитсу в спортзале. После обеда личное время: форму почистить, воротничок подшить, родне написать. В три часа – лекция: «Как отличить комроты от медведя», в четыре плановый полёт. Перед ужином уборка территории, после ужина – кино про бандитов «Винни-Пух», в десять для дежурного взвода караул по пасеке, остальным – отбой.

**Такой порядок.
Ходить только строем.
Летать только роем.
Петь только хором.**

«Пчёлочка золотая, куды же ты летишь?».

На заданье она летит, сады-огороды бомбить насчёт нектару.

Но как темнеть начнёт – сразу в часть.

А ежели кто припозднится, главное чтоб дед Миньзя, пасечник, свет в избе врубил в смысле огней посадочных. Потому бойцы на подлёте засыпают уже.

А дальше хоть из пушки стреляй. Отбой есть отбой.

Я же говорю: правильны у нас пчёлы.

Репетиции и спектакли театра «УТЮГ» в студклубе, располагавшемся в нескольких комнатах неприметного одноэтажного здания в старом университетском дворе – напротив лаборатории, где когда-то работал химик Бутлеров – были из числа лучших мгновений моих студенческих лет. Вот уж где всю цвела и пахла сирень, в самом дворе, насколько я помню, отсутствовавшая.

Руководил театром Борис Максимов, бывший, в частности, хорошим мимом, и во всех постановках наших пластика играла весьма важную роль. Пантомима во второй половине 60-х вообще была необыкновенно популярна. В первую очередь благодаря многочисленности театров малых форм, интере-

су к «Синей блузе» двадцатых вплоть до её, казалось бы, надёжно забытой заглавной песни «Мы синемблужники, мы профсоюзники»; заодно исполнялись отдельные номера из давнего репертуара агитбригад, и какая-нибудь студенточка начала семидесятых, восседая на бричке и одетая как шансонетка, с меховым манто на шее, с восторгом распевала заливчатское «Эх, шарабан мой, американка // А я девчонка, я шарлатанка!» Сказывался и авторитет Марселя Марсо, приехавшего в Советский Союз и быстро ставшего легендой в актёрской среде (помните из песенки Высоцкого: «Куда мне до неё! Она была в Париже // Ей сам Марсель Марсо чего-то говорил?»), а также Ильи Рутберга – игравшего, кстати, в «Айболите-66» – и других отечественных популяризаторов искусства мимики и жеста.

Ещё одна важная причина всеобщей тяги к пантомиме состояла, мне кажется, в том, что этот вид искусства в силу своей специфики был менее подвержен цензуре, тем самым «гайкам», которые закручивались советской идеологической машиной. Контроль распространялся прежде всего на словесное либо с существенной словесной составляющей творчество – театр, кино, литературу, разговорную и песенную эстраду. В невербальных же областях – музыке, архитектуре, танце, пантомиме – была возможна иная степень свободы. Как, впрочем, и в неподцензурной бардовской песне. «За что ж вы Ваньку-то Морозова? // Ведь он ни в чём не виноват», – охотно пела страна вслед за Окуджавой. – «Девочка плачет: шарик улетел // Её утешают, А шарик летит», – и ничего специфически советского в этих коротких житейских историях, как и в пантомиме, не было. Кстати, один из спектаклей «УТЮГа» назывался «Этюды о шарах», и шаров этих, символов краткости нашей жизни и много чего ещё, там было немало.

Уже в другую эпоху, в семидесятые, я написал о пантомиме детское стихотворение – разумеется, пришедшее ко мне из времён Марсо и «УТЮГа».

Это клоун.
Только грустный немножко.
Он показывает
Жизнь понарошку.

Вот он дома.
Открывает окошко.
А окошко у него –
Понарошку.

Вот в руках его
Губная гармошка.
И гармошка у него
Понарошку.

Вот горюет он один.
Гладит кошку.
Даже кошка у него
Понарошку...

Если всё у него
Понарошку –
Отчего мне вправду
Грустно немножко?

«Жизнь Понарошку? – подняла брови сотрудница «Мурзилки», куда я пришёл «Пантомиму». – Нам это не пропустят».

Я не удивился. Примерно тогда же «Весёлые картинки» не взяли моего «Волка».

Не слышал чуднее историй,
Хоть знаю в историях толк.
В посёлке у самого моря
Живёт удивительный волк.

Он зайца не видел ни разу,
Но часто – китов и акул.
Он плавает кролем и брассом,
А то бы сто раз утонул.

Не страшно на улице с волком
Столкнуться порою ночной,
Поскольку известно посёлку,
Что волк совершенно ручной.

Он дружит с семейкой мартышек.
Фуражка на нём набекрень.
А хвост у него – из мальчишек,
Что бегают следом весь день.

Он трубку старинную курит
И носит седые усы,
В спасательной шляпке дежурит
У дальней песчаной косы.

Ах, как он рассказывать может
Под шелест прибрежной волны
О плаваниях дальних, похожих
На летние яркие сны!

Расскажет, и смолкнет надолго,
И в дымку посмотрит с тоской...
Добавить осталось про волка,
Что он не лесной, а морской.

Преступление автора с редакторской точки зрения состояло в том, что герой курил трубку. «Чему мы детей учим?»

Сейчас эти стихи, благодаря более поздним публикациям и песне Григория Гладкова, довольно известны. А ханжество, приучающее к двойным стандартам и в конечном счёте тормозящее взросление, по-прежнему остаётся одним из самых опасных врагов детей.

– Ну, графоманом вас не назовёшь... – сказала мне К., зубы съевшая на детских стихах редактор «Малыша», когда я захал осведомиться о судьбе моей рукописи. – Кому отдать на рецензию?

Сегодня я понимаю, что это была похвала и вообще на редкость радушный приём молодого провинциального поэта в столице. Рецензия имелась в виду внутренняя, издательская.

– Я плохо знаю московских авторов, – сказал я.

К. поглядела испытующе. Затем вздохнула и сочувственно развела руками:

– М-да... Гадюшник!

В Главлит, то есть к цензору, меня пригласили, когда несколько миниатюр из моего юмористического «фамильного» цикла (где все герои имели значимые фамилии) вознамерилась опубликовать газета. Рассказ назывался «Летающий Тарелкин».

«Тарелкин вылетает с балкона своей квартиры ежедневно, в двадцать два ноль-ноль по московскому времени. Жена и дети в этот час уже спят, и Тарелкину никто не мешает.

Он делает прощальный круг над домом, потом ещё один над микрорайоном и взмывает в небо, выбирая каждый раз новый маршрут.

Чтобы лететь было легче, Тарелкин быстро вращается вокруг вертикальной оси.

Это создает тягу.

Иногда он, заметив обращённые к нему взгляды, расплывается в улыбку

и зависает ненадолго где-нибудь над Улан-Удэ или Псковом.

Внизу его не узнают.

Они думают, что странная штука в небе – круглая. А это просто эффект вращения.

Они думают, что блестящий ободок – круговой иллюминатор. А это просто очки.

Они думают, что слышат двигатель. А это просто сопение.

Они думают, что это летающая тарелка.

А это просто – летающий Тарелкин».

Цензор оказался приятной дамой средних лет. Перед её строгим взглядом лежала корректура.

– Скажите, а ваш э-э... Тарелкин не мог бы зависнуть где-нибудь в другом месте? Не над Улан-Удэ?..

Я до сих пор гадаю, какую угрозу славной столице Бурятии нёс мой безобидный летающий герой. Но вопрос был не принципиальный, и в газете Тарелкин воспарил над Бугульмой.

Своему опыту тесного общения с советскими редакторами я обязан и написанной тогда пародией.

ОЙ ТЫ, ДОМНА

(Из творческого наследия редактора N)

На днях из печати выйдет новый роман писателя С. «Ой ты, Домна». Предлагаем вниманию читателей фрагменты редакторской корректуры этой книги. Публикация имеет целью привитие молодым поэтам и прозаикам, начинающим литературным консультантам и редакторам навыков подлинно взыскательного отношения к слову.

Итак, – авторский и отредактированный тексты.

Авторский вариант

Окончательный вариант

После отъезда деверя Николай запил
горькую.

После отъезда деверя
Николай едва не запил горькую.

– Подлец ты, Семён! – сказала Наталья.
– Что ж ты за человек, Семён? –
подумала Наталья.

С плеча Марины сполз халат.
– Иди сюда, глупый... – шепнула она.
Марина наглухо застегнула комбинезон.
– Видали мы таких... – сказала она.

– Люблю тебя, тебя одну, – выдохнул
Николай, горячо обняв Домну.
– Люблю тебя, тебя одну, – выдохнул
Николай, горячо обняв домну.

А дождь лил и лил не переставая.
А солнце всё светило, и ночь, казалось,
никогда не наступит.

156

Изредка в «УТЮГ» заезжали гости; однажды залетел невесть какими путями студенческий театр «Гонг-2» из польского Люблина. Ставили они Брехта, и я помню на сцене казанского Дворца пионеров нескольких крепких парней, по режиссёрской задумке с обнажёнными торсами, нараспев читавших знаменитый антифашистский зонг из «Карьеры Артуро Уи»: «Ещё плодоносить способно чрево // Которое вынашивало гада...»

По просцениуму медленно, в глуби задумчивости, проходила, уставившись в раскрытую общую тетрадь, хрупкая девушка. Откуда-то выскакивал бандитского вида персонаж, хватал её за горло и утаскивал бездыханное тело за ширму. Затем быстро подбирал упавшую тетрадь и в такой же задумчивости шёл через сцену. Следующий лиходей бил проходящего неопознанным твёрдым предметом по голове. И тоже вцеплялся в тетрадь. Затем эпизод повторялся ещё пару раз; победитель – последний завладевший трофеем – пристально всматривался в страницы, и страшное разочарование освещало его злодейскую физиономию.

– Не по тому предмету лекция! – мрачно восклицал он. И подносил к виску пистолет.

Кроме «УТЮГа», в университете имелся и «УХВАТ» – театр миниатюр химфака. В одной из сенок действие происходило в кабинете генерала госбезопасности, куда поздним вечером входил с докладом о происшествиях дежурный офицер.

– На Савёловском вокзале таксист дал сдачу с рубля, – сообщал шоколадный.

– Гм, – задумчиво отвечало начальство. – Наш человек не мог этого сделать...

Однажды для театрализованного студенческого праздника, где у меня были сразу три роли – Архимеда, Ньютона и Эйнштейна, потребовались весёлые стихи. Про Ньютона пригодился давний фольклор студиозусов: «Раз-два-три-четыре-пять // Вышел Ньютон погулять // Оказавшись не у дел // Он под деревом сидел // В это время чьё-то тело // К его телу тяготело // Догадаться тут легко // Это было яблоко». А про Архимеда мне пришлось, опираясь на известную песню, сочинять самому – не менее дурашливое:

**За морем Эгейским, на том бережочке
Мыл Архимедушка белые ноги...**

Сюжет развивался драматически: героя уносило в море. Тем не менее заканчивалось всё хорошо:

**...Но пожалела волна Архимеда,
На берег кинула старого деда.
Так утопил он казённый хитон
И сформулировал важный закон.**

В университет регулярно залетали гости из числа известных персонажей – главным образом люди искусства: Высоцкий, Михалков-старший, греческий композитор Теодоракис. Я запомнил один ответ Михалкова на вопрос из зала. Соавтора советского гимна спросили, какую правку внёс Сталин в первоначальный текст. «У нас с Эль Регистаном было «Республик свободных союз благородный». Сталин написал: «Ваше благородие»? А рядом со строкой «Да здравствует созданный волей народной» начертал: «Народная воля»?». Можно сравнить с окончательными вариантами строчек («Союз нерушимый республик свободных» и «Да здравствует созданный волей народов») и самостоятельно сделать вывод о принципах редактирования.

В преддверии очередного сезона вузовской художественной самодеятельности я нашёл в журнале «Огонёк» маленькие сказки неизвестной мне Светланы Петренко. И две из них не без успеха читал с университетской сцены. Попытка спустя много лет отыскать сказочницу или хотя бы узнать что-то о её судьбе не удалась – человек растворился во времени и пространстве, как и многие, с кем меня так или иначе сводила и потом разлучала жизнь. Но одну из этих изящных миниатюр, лирический портрет утратившего свой дар поэта или актёра, я и сейчас помню наизусть. «Один человек очень любил говорить слова. Он говорил «солнце» и видел его, и слово это светилось, будто солнце. Он говорил «дождь» и слышал, как капли прыгают по крышам и ветер горстями бросает их в стекло. И слово шуршало, будто дождь на рассвете... Он говорил «любовь» и вспоминал людей, которых очень любил, и слово было тёплым и нежным, как губы его девушки...»

И люди слушали эти слова и верили им. Дети играли с ними, как с цветными шариками, и как через стекло смотрели сквозь них на солнце, и всё блестело и становилось ещё лучше, чем на самом деле. А девушки смеялись и улыбались его словам, как они улыбаются только цветам и весне... Потом человек привык к тому, что его слушают, привык к словам. И когда говорил, уже ничего не видел, не представлял, и слова получались тусклыми и уже не светились, не грели. Люди вначале слушали: вот сейчас, сейчас!.. Потом перестали верить и радоваться. А человек этого не замечал. И всё говорил, говорил, говорил...»

На Востоке сирень – символ разлуки, расставания влюблённых, в точности как в романсе, упомянутом в самом начале: «У вагона я ждал, расставаясь с тобой // Полный грусти прощальных мгновений // И в мечтах о былом, вся душою со мной // Ты мне бросила ветку сирени...» Впрочем, я быстро понял, что грусть не обязательно связана с ушедшей любовью.

Сюжет моей песни «Багдадский вор» – из студенческих лет. Знакомо ли вам чувство вины перед людьми, которых вы едва знали?

**В час, когда багдадский вор
Молча ходит за стеной,
Я веду свой разговор
С юной женщиной одной.
С той, кого когда-то знал,
С той, кого пропал и след,
С той, кого и свет пропал,
С той, кого на свете нет.**

Она была чистая Нефертити – те же высокие скулы, миндалевидные глаза, длинная шея, те же смуглость и чёткий абрис лица. Мы учились в университете, мне было девятнадцать, ей чуть больше, я только раз говорил с ней наедине; держалась она отстранённо, легко роняя насмешливые реплики (что, собственно, и называется «отшивать»). Понаблюдав за ней, я в конце концов пришёл к выводу, что ровесники ей вообще не интересны, здесь герой много старше – может быть, как у Элли Дэн в «Доме, где разбиваются сердца».

А вскоре с изумлением, не желая в это верить, я услышал, что она умерла.

**Я её не целовал,
На рассвете не будил –
Только слово и сказал,
Только взглядом проводил.
Я ни духом и ни сном
Перед ней не виноват,
Но не спит в окне моём
Неспокойный мой Багдад...**

В округлом, мягком лице другой присутствовала болезненная пухлость, делавшая кожу очень светлой и, кажется, даже слегка прозрачной. Она подошла ко мне в музее Горького, на занятии литературного объединения, – о чём-то спросить. Только через десяток лет я увидел её посмертную книгу, где жизнь метафорически прочитывалась как зebra, как бесконечное чередование – солнца и дождя, радости и горя, штиля и шторма. Удивительно, но спустя годы в городе появилась ещё одна поэтесса с теми же именем и фамилией; трудно было не увидеть в этом символ. Когда я слышу её имя, то всегда думаю о них обоих.

Всё-то бродит под луной,
Всё монистами звенит,
Всё на тропке обходной
Колотушкою стучит,
И ползёт ночная тень,
И бормочет мой сурок:
«Это ты недоглядел,
Это ты не уберёг».

158

Третья была похожа на Тамару Семину в роли Катюши из «Воскресения». И, кажется, тоже слегка косила, что её, как и героиню Толстого, совсем не портило. Я никогда не разговаривал с ней, хотя видел часто: мы были из одной школы. А потом, изредка встречая то на институтском вечере, то в кино, то на улице, поневоле замечал, как она меняется. Она казалась мне одинокой, хотя иногда была не одна. Её платья были нарядны, но будто с чужого плеча, глаза в ответ на взгляд вспыхивали и тут же гасли, танцую она смеялась, но улыбка её была неуверенной, словно она Золушка на королевском балу и боится, что её чудесное платье вот-вот снова превратится в лохмотья, а карета – в тыкву... Она была не из отличниц; когда я думал о ней, то представлял себе, что отца у неё нет, а мать пьёт, что поступить в институт она не смогла, а на вузовских вечерах появляется левым образом, через подружку, – может быть, в надежде встретить кого-то – кого-то из другой среды, другой жизни. Одежда её с каждым годом выглядела всё небрежней, походка – всё более нетвёрдой, лицо приобрело тёмный, землистый оттенок... А потом я просто перестал встречать её.

Как ворот ни запирай,
Вор лазеечку найдёт.
Как судьбы ни выбирай –
Подойдёт и украдёт...

Это печальные воспоминания, и это одна из главных тем моих взрослых текстов, особенно песенных, – Время как сила, отбирающая у нас всё, что мы любим, а затем и саму жизнь; романсовый ход. Я всегда хотя бы на мгновение притормаживал у переделкинской могилы исторического романиста Зиновия Давыдова с выбитой на стеле цитатой

из Блока: «Затопили нас волны времени, и была наша участь мгновенна». А в сентиментальном жанре предпочитал именно песни о хрупкости всего земного, о краткости человеческого существования, – скажем, «Две розы» на стихи д'Актиля, где за увядшими цветами легко угадываются две любви, две женщины лирического героя: «Одна из них, алая-алая, // Была как мечта небывалая // Другая же, белая-белая, // Была как попытка несмелая, // И обе манили и звали, // И обе увяли...»

Наверно, это был не осознанный ещё как задача писательский тренинг – придумывать монологи, психологические портреты и целые биографии встречным людям, зверям и предметам. Часто на уровне мгновенной стихийной реакции. Сегодня меня больше занимают животные и вещи. А в юности это были главным образом люди; я сочинил, не записывая, кучу историй, а зафиксировал некоторые спустя время только потому, что они не спрашивали разрешения и всплывали в памяти сами по себе.

Из наблюдений за типажам разного рода вечерних и ночных событий, от школьных и студенческих вечеров до, как бы сказали сейчас, светских тусовок, возникли, к примеру, такие песни, как «Птицелов» или «Тот, кто подарил мне сердолик». Конечно, в помощь оказался и более поздний опыт, но сюжеты родились тогда, в шестидесятых-семидесятых, и сами персонажи тоже были оттуда – разминувшиеся с автором по жизни, но не по воображению.

Он кружит как ветер по улицам этим,
Где путнику светят луна и любовь,
Где пёстрая мчится машин вереница,
Где женщина – птица, а он – птицелов.

Он чуток, он зорек на щebet и шорох,
На тень и на голос в вечернем дыму.
Он вечно во власти мгновенья и страсти,
И это – несчастье и счастье его.

А если среди ночи на логово волчье
Он с ходу наскочит, по следу спеша, –
Никто под покровом небесным фартовым
За жизнь птицелова не даст и гроша...

Он взгляда не прячет и верит в удачу,
Что снова назначит свиданье ему.

Но он не гадает и звёзд не читает,
Он предпочитает не знать ничего.

Всегда на рассвете полны его сети,
Не зря ему светят луна и любовь, –
И пёстрая мчится ночей вереница,
Где женщина – птица, а он – птицелов.

Среди песен есть рассказы, повести
и романы. «Птицелов» – это, конечно,
новелла, а вот вторая упомянутая пес-
ня – скорее повесть, автобиография
героини изложена здесь практически с
начала до конца или, лучше сказать, от
скромного берегового камешка до свер-
кающего алмаза – потому что это жизнь,
рассказанная через подарки.

Тот, кто подарил мне сердолик,
Был герой шпаны замоскворецкой.
Он ходил по жизни напрямик,
И на слово, и на дело резкий.
Проходными тёмными дворами
Мчался он сквозь милицейский свист...
Но стоял незримо между нами
Тот, кто подарил мне аметист.

Тот, кто подарил мне аметист,
Человек рискованный был и редкий –
Казино заслуженный артист,
Исполнитель соло на рулетке.
Для меня он долгими ночами
На гроши разменивал талант...
Но стоял незримо между нами
Тот, кто подарил мне бриллиант.

Тот, кто подарил мне бриллиант,
С юных лет финансовый был гений.
Стала я любимой из наград,
Лучшим из его приобретений.
Крупными ворочал он делами,
У него на всё хватало сил...
Но стоял незримо между нами
Тот, кто ничего мне не дарил.

Тот, кто ничего мне не дарил,
Кроме мельком брошенного взгляда,
Мог бы подарить мне пару крыл –
А других подарков мне не надо.
Там, под голубыми небесами,
Мы бы были счастливы вдвоём...
Но стоит незримо между нами
Время мимолётное моё.

Время мимолётное моё,
Ах, зачем так быстро ты летело?
Время быстролётное моё,
Разве я такой судьбы хотела?
Неужели жизнь моя мгновенна,
Будто я – падающая звезда
В мире, где одно лишь драгоценно –
Время, что уходит навсегда?

Удивительно, как иногда закольцо-
вывается тема при возникновении в па-
мяти нового названия, события или име-
ни. Ленинградец Д'Актиль, о котором
я вспомнил в связи с романсом «Две
розы», – кстати, автор текстов «Конной
Будённого» и другого известного роман-
са «Изумруд» – написал и «У меня есть
сердце, а у сердца – песня», строки, с
коих я начал повесть «У дороги чибис».
А ещё он соавтор – по работе для мюзик-
холла – знаменитого писателя-юмори-
ста Аркадия Бухова, в начале прошлого
века жившего в Казани и работавшего в
местном сатирическом журнале «Мете-
ор». Редакция этого неугодного властям
издания располагалась на улице Воз-
несенской, сейчас Кремлёвской, в зда-
нии нынешнего главпочтамта, и жители
соседних домов не раз наблюдали, как
после очередного фельетона на злобу
дня жандармы под ручки выводили жур-
налистов «Метеора» из дверей и вели в
направлении ближайшей кутузки.

Вместе с Буховым в казанском «Ме-
теоре» трудился, в частности, будущий
«дедушка русской пародии» Евгений
Венский (Пяткин), книга которого «Моё
копыто» дала в новом веке старт твор-
честву отечественных поэтов-пере-
смешников.

Аркадий Бухов впоследствии заве-
довал литературным отделом журнала
«Крокодил». И оба они, и Бухов, и Вен-
ский, в тридцатые были репрессирова-
ны.

А «Крокодил» выжил, и уже в вось-
мидесятых поэт-сатирик Олег Молотков
посвятил ему едкое четверостишие:
«Ты, Россия, – светоч мира, // Ты чита-
ющая вся. // Отчего ж твоя сатира – //
Пресмыкающаяся?»

Саратовский поэт Молотков был
известен прежде всего как создатель
напечатанного «Литературкой» жизне-
описания типичного ИТР советских лет.
Житие называлось «Человеческая ко-
медия», было составлено исключительно
из назывных предложений – «Мама,
сказка, каша, кошка. // Книжка, яркая
обложка. // Буратино, Карabas // Ранец,

школа, первый класс...» – и излагало биографию героя вплоть до «Юбилей, банкет, награда. // Речи, памятник, ограда»...

Я с Молотковым виделся только однажды, в подмосковной Малеевке, где он читал свою эпиграмму на «Крокодил» в качестве участника семинара молодых юмористов. Особую пикантность моменту придавал тот факт, что в числе почётных гостей семинара был главный редактор журнала имени этой славной рептилии.

Олега, как и многих участников того малеевского семинара, уже нет в живых; остаётся утешаться тем, что улыбка его не исчезла, теперь она светит издали, и наполненные ею строчки по-прежнему заставляют нас улыбаться в ответ.

Утешение как попытка примирить счастье и несчастье – неизменная часть смыслов, связанных с сиренью. У украинцев есть легенда о сиреневом рае. У князя Кочубея была любимая, но неизлечимо больная внучка, Анна. Дед, чтобы хоть как-то утешить её, разбил неподалёку от Полтавы (в знаменитой Диканьке) сад из сирени, привезённой с разных концов Европы. Сад был так хорош, что здоровье девушки начало улучшаться. Но когда сирень отцвела, Анна ушла из жизни. Говорят, что душа её с тех пор обитает в этой сиреневой роще и майские соловьи поют ей свои песни.

В тени сиреней на могилах одесского кладбища, куда я забрёл в конце 60-х, мне попало множество грустных, утешающих, трогательных и зачастую наивных надписей. А более всего запомнилась самая простая – и самая ду-

шераздирающая: «Господи, и это всё?» Ею и, может быть, одним стихотворением забытого сатириконца Валентина Горянского и был навеян «трамвайный» монолог, написанный несколько лет спустя.

Если бы водители могли быть пассажирами трамвая, который сами ведут, – какой бы это был счастливый мир! Насколько ближе и понятнее друг другу стали бы люди! Как бесхитростно и свято раскрылась бы навстречу дружескому взгляду душа пассажира!

Пассажиру душно летом, его знобит зимой, пассажира укачивает, пассажира валит с ног при рывках трамвая. На остановках его подстерегают контролёры, да и без них он не чувствует себя человеком, если в руке его не зажат кусочек пронумерованной бумажной ленты. Пассажир должен проходить в середину салона, вовремя оплачивать проезд, не иметь при себе взрывоопасных предметов, не прислоняться к стеклу кабины водителя и предьявлять проездной при выходе...

А когда он наконец расплатится со всеми долгами, выберет место поудобнее, сядет и приготовится к чему-то очень хорошему, то услышит: «Вагон дальше не пойдёт!» За что?

Долги мои далеко не исчерпаны. Может быть, именно с целью хотя бы уменьшить это бремя я и не оставляю по сей день своей сиреневой свирели, поющей всё о том же – о счастьях и несчастьях существования. И, надеюсь, дающей тем, кто слушает, утешение. В котором, что ни говори, отдельно взятый человек более всего и нуждается – как всякий листок на ветру.

